

Виктория Токарева

Почем килограмм славы



Издательство «Азбука»

Виктория Самойловна Токарева Почем килограмм славы (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17099696

*Виктория Токарева. Почем килограмм славы. Рассказы и киноповесть: Азбука, Азбука-Амтикус; Санкт-Петербург; 2016
ISBN 978-5-389-11151-6*

Аннотация

«Наша жизнь – это не только то, что мы сделали. Но и то, что не сделали: не пошли на зов любви, не вспахали грядку под огурцы, не родили ребенка. Жизнь – как банка с клубникой. Между ягодами – пустоты. Но пустоты – это тоже наполнение. Кого мы помним? Тех, кто нас собирал. И тех, кто разорял. Разорял наши души, как гнезда. Они тоже нужны».

В. Токарева

Содержание

Один из нас	5
Почем килограмм славы	15
Самое начало	17
Я учусь	19
День без вранья	21
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Виктория Токарева

Почем килограмм славы.

Рассказы и киноповесть

© Токарева В. С., 1993, 1998

© Токарева В. С., Данелия Г. Н., 1971

© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *



С Георгием Данелией. Москва, 1977 г.

Что меня гонит?

Инстинкт передачи информации – его называют Талант. Существует инстинкт продолжения рода, который зовется Любовь. Значит, талант такой же мощный инстинкт, как любовь, и никуда от этого не денешься. Сядешь и будешь писать.

Один из нас

Во ВГИКе существовал термин «выйти в производство». Это значило: написать сценарий, который примет киностудия. К нему найдется режиссер и снимет кино. Если идти дальше и фильм окажется удачей, то его пошлют на кинофестиваль, он получит приз. А если еще дальше – представят на «Оскар». И фильм окажется удостоенным самой высокой международной оценки. Но это слишком далеко. Мне хотелось самого простого: выйти в производство. И даже это казалось недостижимым.

Однажды мне позвонил Доработчик и попросил, чтобы я встретила с его другом Аликом. А может быть, позвонил сам Алик и, сославшись на Доработчика, попросил о встрече. А может, вообще никто не звонил, мы просто встретились с Аликом в метро. Момент первого знакомства из моей памяти выпал. Помню только себя и Алика в метро. Я передаю ему свой рассказ. Он хочет снимать кино и ищет для этого драматургический материал. Видимо, ему посоветовали меня. Мое имя начинало тогда неярко мерцать.

Алик – высокий блондин арийского типа. Тонкое лицо, голубые глаза, тихий голос. Объективно – красивый. Но для меня красота – это не рост, не внешность, а талант, который просачивается через глаза. Или хлещет через глаза. У Алика ничего не хлестало, жизненный напор был слабым, как и голос.

Снимать комедию гораздо сложнее, чем мелодраму. Заставить зрителя засмеяться гораздо труднее, чем заплакать. Врожденный юмор – это умение видеть мир через определенное стекло. Одни видят, а другие нет. Владимир Ильич Ленин, например, говорил о себе так: «Я понимаю юмор, но не владею им». А Ленин был умным и даже блестящим человеком. Однако юмором не владел.

Алик тоже понимал юмор, но не владел им совершенно. И при этом стремился снимать комедию.

Мое впечатление от Алика нулевое. Я вижу его глазами, но не улавливаю его сущности.

Алик забирает рукопись и уходит. Я смотрю ему в спину. Он ступает как-то неуверенно. Одни идут уверенно – и все берут. Другие идут неуверенно и просят. И им не дают. И они обижаются.

Дальше я помню, как мы вдвоем – я и Алик – оказываемся у Доработчика дома. Идет разминка, мы проговариваем возможные сюжеты для комедии. И вдруг зацепились за историю типа: ехал грека через реку, видит грека... – и так далее, куда он попадает, что видит и что с ним случается, с нашим смешным, доверчивым и трогательным Грекой. О том, как он влипает, как «кур в ошип», в авантюрную историю. Я, кстати, долгое время думала: «как кур во щи». Но это примерно одно и то же. Куру сначала ошипывают, потом кладут во щи. Так что для куры все кончается одинаково, как и для нашего Греки.

Итак, мы решили написать сценарий. Впереди предстояла большая и бесславная работа. Кто знает сценариста? Никто. Сценаристы славы не имут. Все достается актерам, потом режиссерам. Тогда зачем я должна изо дня в день сидеть над машинкой сгорбившись, портить здоровье, гнать строчки одну за другой? Что меня гонит? Инстинкт передачи информации – его называют Талант. Существует инстинкт продолжения рода, который зовется Любовь. Значит, талант такой же мощный инстинкт, как любовь, и никуда от этого не денешься. Сядешь и будешь писать.

Талант в человеке навязывает свою программу. Как будто закладывается определенная дискета. Когда человек садится за машинку, он не подозревает, что это талант усаживает его за стол, и работает, и вырабатывает себя. Дело человека – не мешать, не разбавлять водкой, враньем и деньгами. Иначе талант останавливается. Он не может вырабатывать себя в испорченной машине.

Итак, меня погнали в работу инстинкт и тщеславие. Желание славы. «Чтобы именем моим все, все вокруг тебя...» и так далее.

Доработчика усадил за сценарий культ дружбы. Алик – друг. Значит, во имя Алика.

А что погнало в кино Алика? Карина. Девушка его мечты.

Когда Алик увидел Карину в первый раз – это случилось на юге, на пляже, – он сразу понял, что это – ОНА и вся его дальнейшая жизнь будет идти под знаком: продвижение к Карине. Пусть даже по миллиметру в год.

В ту пору Алик учился в техническом вузе, должен был стать инженером. Одним из многих. Инженер – профессия не престижная. Палкой кинешь – в инженера попадешь.

Мода на профессии менялась в течение века. В тридцатых годах модная профессия – летчик. Как Чкалов. В сороковых – генерал, лучше маршал. В шестидесятых – кинорежиссер. В девяностых – банкир. Но вернемся в шестидесятые...

Алик решил сменить статус и поступить на режиссерские курсы, поскольку режиссер – профессия избранных. Чтобы достичь Карины, надо стать элитарным самцом. Что такое элита? Это деньги, общение, одухотворенный труд. И все это Алик собирается сложить к ногам семнадцатилетней Карины. Немало.

В этот же год на эти же курсы поступает Доработчик. Они познакомились и подружились.

Алик и Доработчик – не только не похожи, а прямо противоположны. Один смуглый, другой бледный. Один крепкий, другой худосочный. Не говоря о темпераментах: один вспыливает как спичка, другой сдержан. Но, видимо, что-то в них совпадало. Была в Алике тихая преданность. А Доработчик преданность ценил, как и все, впрочем.

На курсах Алик был занят тем, что любил Карину. На занятиях он думал о том, как они вечером встретятся, и пойдут в кино, и сядут на задний ряд, и он в темноте найдет ее руку. О большем Алик не помышлял. Он берег Карину для себя. Он знал, что они поженятся и тогда будет ВСЕ. От этих мыслей у Алика пресекалось дыхание и спотыкалось сердце. А потом начинало колотиться с утроенной силой. Он любил Карину в буквальном смысле до потери пульса.

Объективности ради надо отметить, что Карина действительно была хороша. У нее прекрасные природные данные: глаза, лицо, фигура. Но плюс к тому она следила за собой, холила и поддерживала свою красоту, что редкость в молодых девушках. Девушки, как правило, хороши молодостью. Этого хватает. А в случае Карины – это молодость плюс усилия. Она отличалась от остальных, как культурная роза от дикого шиповника.

Алик это видел. И не только Алик. Однажды на чьем-то дне рождения к Карине прилепился красавец архитектор. Угроза была серьезной. Красавец не только красив, но и талантлив, богат и свободен. И находился в открытом поиске. Карина, как рыба, могла уйти с крючка. А вне Карины жизнь Алика не имела никакого смысла. Жизнь превращалась в черный мешок, где сидишь, скрючившись, ничего не видишь и нечем дышать.

В один прекрасный, или, правильнее сказать, ужасный, день Алик позвонил Карине и ее мама легким голосом сообщила, что Карина ушла в гости. К кому? Кажется, к Архитектору.

Мать Карины, сорокалетняя свободная женщина, сама искала себе партию. Как подозревал Алик: ищет-ищет – не найдет, меняет партнеров. Она и Карину ориентировала на поиск и наверняка одобряла кандидатуру Архитектора.

Алик положил трубку и сжал челюсти. Он берег свою Карину, как каплю росы. Боялся пролить. Единственное, что он мог себе позволить: взять за руку в темном кинозале. А тут – домой, в холостяцкую квартиру... Вряд ли Архитектор ограничится рукой. Он взломает его клад и возьмет что пожелает. А Карина... Она не предательница, нет. Она просто наивное, любопытное существо и не ведает, что творит, – как ребенок, свесившийся с подоконника.

Карина – жертва этого опытного взламывателя. Но Алик не отдаст свою любовь. Он поменяет местами жертву и палача. Вернее, так: он сделает палача жертвой.

Алик взял из дома ледоруб – он был заядлым альпинистом – и отправился к Архитектору.

Алик знал адрес. В свое время он брал у Архитектора ключи от холостяцкой квартиры. И хорошо знал эту квартиру, и широкий диван, и тихую музыку из проигрывателя.

Алик шел с ледорубом. На всякий случай. Алик хорошо лазал по горам, но дрался плохо. Архитектор занимался боксом и дрался хорошо, зато не умел преодолевать вершины. У него были свои вершины.

Дверь долго не открывали, и перед мысленным взором Алика проплывали страшные видения.

Архитектор не открывал потому, что никого не ждал. Он рассчитывал, что неожиданный гость позвонит и уйдет. Но гость оказался настырный. Пришлось идти и открывать.

Надо заметить, что ничего ТАКОГО между ним и Кариной не происходило. Карина просто сидела на диване с ногами, туфли-лодочки стояли возле дивана на полу, привалившись одна к другой. А Карина сидела, поджав ноги, вполне уютно. Не официально. Но все-таки рискованно. На грани между «можно» и «нельзя».

Возможно, игра двинулась бы и дальше. Но не двинулась, поскольку явился Алик. Ему открыли. Он шагнул в прихожую, увидел туфли-лодочки возле дивана и ударил Архитектора ледорубом. Как Троицкого. Это была ошибка номер один.

Архитектор упал. А Алик взял Карину за руку и повел за собой. Карина торопливо сунула ноги в туфли-лодочки и ушла за Аликом, потрясенная его ревностью, а значит, и любовью.

Последствием своего поступка Алик не заинтересовался. Он не задержался возле лежащего без сознания человека, не испугался лужицы крови, не вызвал врача, не смутился от собственной жестокости. Может быть, и смутился, и испугался – я этого не знаю. Но знаю, что он ушел и увел невесту. Это была ошибка номер два.

В результате проделанных ошибок Алик получил восемь лет тюрьмы за нанесение тяжелых телесных повреждений.

Как это все происходило: суд и приговор, чувства Алика и чувства его матери, – я не знаю. Но это легко предположить – что испытывает мать, провожая сына в тюрьму на восемь лет.

Из чего состоит человеческая жизнь? Еда, сон, труд, секс, общение. Что такое тюрьма? Это плохая еда. Сон в переполненной камере или бараке. Тяжелый бездуховный труд. Отсутствие секса или навязанный секс. Вынужденное общение.

Во всем плохом, что происходит с детьми, виноваты родители. Даже если это уже большой мальчик – все равно виновата мать. Мать Алика, кстати, была очень крупным ученым. В какой области, я не знаю, да это и не важно. Я помню эту женщину. Она постоянно торопилась. Куда? В свою науку. Там ей было интереснее всего. Об отце я никогда не слышала. Такое впечатление, что его не было вообще. Алика растила только мать. Она любила сына, но не всем существом, а только той частью, которая оставалась от науки. Когда женщина занята, она воспитывает ребенка по линии наименьшего сопротивления, а именно: все разрешает. Так легче всего. Воспитывать – это значит противостоять, на чем-то настаивать, запрещать, тратить энергию. А энергия нужна для другого.

Вседозволенность привела к тому, что Алик легко взял ледоруб и легко опустил его на темя живого человека. И сел в тюрьму.

А может быть, вседозволенность ни при чем. Просто в Алика попал ген отца, которого мы не знали. Мать – работоспособная, одаренная, тихая, некрасивая женщина, похожая на крестьянку. С ее генами Алик в свои двадцать пять лет стал бы доктором наук, а не скакал из

одного учебного заведения в другое с одинаковым, примерно нулевым результатом. К тому же Алик был аристократично красив, изысканно нежен. В нем явно просвечивал какой-то таинственный папаша.

А может быть, дело не в наследственности и не в воспитании, а в роковой любви. Такая любовь приносит испытания, а иногда даже забирает жизнь.

Алик сел в тюрьму. Но любовь не потерял. Карина терпеливо и преданно его ждала. С ее стороны тоже была настоящая любовь, а может быть, она видела Алика в действии и боялась получить по голове.

Карина ждала. Училась в институте. Ездил к жениху в ссылку. Писала письма. Получала письма. Это были хорошие времена, как ни странно. Все было ясно. Она – любит и ждет. Он – любим и страдает из-за любви. Вокруг его головы незримо мерцал нимб мученика. Впереди – маяк свободы. Оковы тяжкие падут, и Алик упадет в объятия Карины. Они будут нежно любить друг друга всю жизнь, до старости и в старости. И умрут в один день, чтобы не мучиться друг без друга. Ради такой перспективы стоит переждать в неволе пусть даже восемь лет. Но Алик вышел раньше – через пять. Его выкупила мать. Не сумела воспитать – плати. Мать заплатила все деньги, заработанные в науке.

Алик вышел из тюрьмы тридцатилетним человеком. Вся жизнь впереди.

Алик и Карина поженились. Начались новые времена, не лучше тюремных. Алик не работал, ему не давали снимать. Он был человеком с пятном, с испорченной анкетой.

Алик тыркался, мучился, ничего не выходило. Он по целым дням сидел дома на тахте и спал с открытыми глазами. Он научился так спать в тюрьме: глаза открыты, но какие-то слюдяные, как у свежемороженой рыбы трески.

Карина тем временем ходила на работу в свое конструкторское бюро, зарабатывала деньги на семью. Холить свою красоту было некогда, да и настроение не то. Она ходила с ломаными ногтями, унылым лицом и не могла понять: когда это кончится? Сколько он будет так сидеть, а все вокруг его кормить? Алику помогала мама. Но как можно уважать мужчину, который в тридцать пять лет берет у мамы деньги?

С тюрьмой все было ясно – восемь лет. А эта новая каторга – бессрочная. До конца дней.

Особенно обидным казалось то, что Карина до двадцати пяти лет сохраняла девственность и отдала ее Алику. Уж лучше бы тогда... С красавцем Архитектором.

* * *

А что делает Красавец? Красавец – больше не красавец, а инвалид. Проломанную теменную кость пришлось заместить куском пластмассы. Пластмасса не дышит в отличие от кости. У Красавца начались жуткие головные боли, нарушение мозгового давления и все, что с этим связано. Из хозяина жизни он превратился в беспомощного свидетеля, который может только наблюдать, а сам не участвует.

Если бы Красавец верил в Бога, то, может быть, вера привела бы его к смирению. Вера бы посоветовала: «Смири гордыню». И он бы смирил. Простил обидчика.

Если бы Красавец внимательно читал Льва Толстого, то он бы подставил Алику правую щеку. Но в Бога Красавец не верил, Толстого читал невнимательно и никак не мог уразуметь: почему по вине какой-то сволочи должен потерять здоровье и практически жизнь, потому что такое полупарализованное состояние с палкой – это не жизнь.

За что, спрашивается? За Карину? Но у них ничего не было. Он захотел поухаживать, позвал. Она пришла. Не хотела бы – не пришла. Для того его родила мать, собирала по каплям, чтобы все рухнуло от одного взмаха ревнивого идиота...

Православие учит прощать врагов своих. А иудаизм настоятельно советует мстить: око за око, зуб за зуб... Архитектор не был иудеем, но идея мщения была ему ближе, чем идея прощения. Более того, желание мстить сообщало ему жизненную энергию, держало на плаву. Каждое утро, проснувшись, он думал о способе мщения. И он его нашел. Одолжил у приятеля ружье для подводной охоты. Ружье посылает не пулю, а стрелу. Если пустить эту стрелу в лицо, от затылка ничего не останется. Что-то останется, но будет лежать на полу рядом с головой.

Архитектор спрашивал себя: а что изменится? И отвечал себе: изменится. Будет восстановлена справедливость. Я без головы, и он без головы. А иначе что получается? Архитектор – инвалид, на обеспечении у государства. А Алик, отсидев пять лет, вернулся здоровый и невредимый, женился на этой же Карине и вдобавок ко всему собирается ставить фильм. В случае удачи окажется на гребне славы.

Значит, у одного – одиночество и нищенская пенсия по инвалидности, а у другого – жена, ребенок и слава...

* * *

Однако до славы было далеко. Карина была – это правда. Ребенок тоже родился – мальчик. Но не было работы, не было денег. А безделье и бедность никого не украшают.

Алик приходил к Доработчику и сидел у него на тахте со слюдяными глазами. Он ничего не просил, но все было ясно и так. Доработчик решил ему помочь.

Но как можно помочь? Написать сценарий. Пробрить постановку. Осуществить художественное руководство.

Для написания сценария была приглашена я. Почему я? Очень просто. Я не опаздывала, не пила, могла работать сколько угодно. Мой организм защищали молодость и потребность в творческом труде.

Доработчик тоже был вполне молод, ослепительно талантлив. Его талант обжигал, как южное солнце. Нам было тепло, светло и весело. Алик сидел тут же, на тахте, спал и просыпался с одинаково открытыми глазами. Он вроде бы не сочинял, но был зачем-то нужен. Как фон. С ним лучше придумывалось. Алик тоже внес свой вклад, почерпнутый из тюремной жизни: воровской язык, блатную феню, кое-какие подробности, которых мы с Доработчиком не знали и знать не могли. А именно детали и подробности делают искусство.

У Доработчика были свои творческие дела, которые он отодвинул из-за Алика. Доработчик торопился. Мы работали с утра до вечера.

Я могу сочинять только три часа в день. Приходилось – десять. Нормальные люди так не работают. Я уставала. Меня била нервная дрожь. Шапка Мономаха оказалась тяжелой. Ее несут те, кто жаждет власти. Но ведь слава – тоже власть.

Однажды Доработчик поехал проводить меня домой. Я в то время жила на краю Москвы, возле леса. Мы решили немного погулять. Продышаться. Доработчик начал сочинять, не мог остановиться, но я его не поддержала. В меня не проникало ни одного слова. Я была как сосуд, наполненный до краев.

В темном небе пролетел самолет с огоньками. Доработчик стоял, смотрел в небо. Потом зажмурил глаза и проговорил:

– Голова закружилась...

Мне стало его жаль, я вдруг сказала какие-то слова, не имеющие к сценарию никакого отношения. Он молчал. Потом проговорил:

– Ты хорошая...

Я и в самом деле была хорошая, работающая и доверчивая.

Мы расстались в тот вечер – молодые и яркие, однако в туманной дымке, где ничего не видно и не понятно.

На другой день мы работали у Алика. Когда я вошла, Алик заорал на меня с вытаращенными глазами. Оказывается, пока мы гуляли весь вечер, ему звонила Надя – жена Доработчика и волновалась: куда это мы запропастились? Алик явно держал сторону Нади.

В этот момент явился Доработчик в замечательном настроении. Алик выразил свое неудовольствие и ему.

Доработчику не было стыдно. Мне тоже. Мы не чувствовали своей вины перед Надей, может, были просто бессовестные. Или срабатывал эгоизм молодости... У нас было приподнятое настроение, а в этом состоянии работаете особенно хорошо. Это состояние переходило на страницы сценария. И в конце концов, когда фильм был готов, – передалось и на экран. Фильм получился ясным, смешным и добрым.

Всякое искусство – самовыражение. Мы выразили себя тех, тридцатилетних, наполненных, неисчерпаемых. Сколько ни черпай, а дна не видать...

Но вернемся немножко обратно, в последний день работы. Мы поставили точку в час ночи. В доме Доработчика.

Семья спала. Мы тихо, на цыпочках, вышли на кухню. Доработчик достал стаканы из тяжелого стекла и плеснул в них виски. Все это тогда было в диковинку: виски, тяжелые стаканы. Я прониклась торжественностью момента.

Доработчик произнес тост:

– Самое ценное в человеческой жизни – дружба. Вы – мои друзья, как два камня в моем браслете...

Эти камни в браслете я запомнила на всю жизнь.

Мы выпили из тяжелых стаканов. Потом оделись и пошли к метро. Доработчик вышел нас проводить.

Мы шли по ночной Москве и слышали свои шаги. Я до сих пор помню: звук шагов по сухому асфальту и ощущение хорошо сделанной работы. Мне иногда кажется, что ощущение хорошо сделанной работы – один из смыслов жизни, если не единственный.

Возле метро мы простились. Алик повернулся и пошел, а мы смотрели ему вслед. Он улыбался – мы поняли это по раздвинутым ушам. Улыбка как бы слетала с лица и улетала в пространство. Мы стояли под его улыбкой. Была тихая, светлая минута. Как говорится в таких случаях: ангел пролетел...

* * *

Фильм запустили в производство. Начались съемки в павильонах.

Алик каждый день уходил на работу и возвращался вечером усталый. Карина мыла ему ноги – ей так хотелось. Она играла в покорную рабу, демонстрировала, что уважает его труд и его усталость.

Любовь расцвела. Карина похорошела. Алик ходил с лицом скромного усталого гения.

Доработчик, как впередсмотрящий на корабле, смотрел вперед, не допуская столкновений. Но не только смотрел, а иногда поворачивал руль в нужную сторону.

Кончилось все тем, чем и должно было закончиться: фильмом.

Фильм вышел на экраны в декабре и двумя копиями выполнил годовой план кинопроката. Люди покупали билеты с рук, платили по три рубля. Билет в кассе в то время стоил двадцать копеек. Переплачивали в пятнадцать раз.

В зале стоял дружный хохот. Временами он сменялся на светлую улыбку. Все, что мы вложили в сценарий, возвращалось к нам с экрана.

Алик стал знаменит в течение одной недели. В понедельник фильм вышел на экраны, а в следующий понедельник имя Алика уже сияло на кинематографическом небосклоне.

А во вторник к нему явился Архитектор с ружьем для подводной охоты. С таким ружьем ходят на крупную рыбу.

Архитектор пришел рано утром, позвонил в дверь.

Алик спросил:

– Кто?

Ему ответили:

– Почта.

Алик открыл, и в его лицо полетела стрела. Стрела вошла возле носа, пронзила челюсть и вышла за ухом. Видимо, рука Архитектора дрогнула, и стрела пошла по косо́й. Она не только не убила Алика, но практически не принесла вреда, если не считать двух зубов.

Алик все понял в ту же секунду, отскочил в кухню и схватил утюг. Если бы Архитектор проследовал за ним, то на пластмассовую перегородку опустился бы утюг. Но сверху по лестнице кто-то шел, и Архитектор решил скрыться с места происшествия. Он спустился этажом ниже, вызвал лифт и уехал.

Алик помчался в больницу, чтобы ему вытащили стрелу. Хвост стрелы имел зазубрины, которые не давали обратного хода. Пришлось отпиливать ножовкой по металлу.

Алик сказал врачу, что это он сам выстрелил в себя. Чистил ружье и нечаянно нажал. Врач качал головой. Стрела прошла по единственно безопасной траектории. Полсантиметра выше, и это был бы смертельный номер.

– Вы счастливчик, – повторял врач. – Просто счастливчик...

* * *

Архитектор не знал, как он выстрелил, чем все кончилось. Вечером он набрал номер Алика. Трубку снял сам Алик и спокойным голосом отозвался: «Алло»...

Архитектор промолчал. Не представился. Стало ясно, что он не достиг своей мстительной цели. И самое страшное – не достигнет никогда. Второй раз он не пойдет. Это оказалось гораздо труднее, чем он думал. Это оказалось почти невыносимо – стрелять в живого человека, хоть и во врага. Недаром слово «преступление» – от «преступить». Надо преступить в себе что-то такое, что отделяет человека от нечеловека.

Архитектор понял, что на второй раз его не хватит. И заплакал. И громко крикнул в трубку срывающимся, не своим голосом:

– Сволочь! Я тебя убью!

И бросил трубку, чтобы снова плакать.

* * *

Алик никому ничего не говорил. Он раздобыл пистолет или револьвер, я не знаю разницы и не знаю, где он достал. Где-то...

Алик ждал, что Архитектор явится снова. Когда? Куда? Не ясно. Но явится, чтобы убить.

Алик ложился спать и клал пистолет под подушку. Выходя из дома, он перекладывал пистолет во внутренний карман пиджака.

Время шло, месяц за месяцем, Архитектор все не появлялся. Это состояние ожидания выматывало Алика. Он уже хотел, чтобы Архитектор пришел и все было бы решено раз и навсегда.

Архитектор не шел, однако звонил часто и в разное время. Трубку снимала Карина, иногда ребенок. Но чаще Алик. И каждый раз он слышал:

– Сволочь! Я тебя убью...

Интонация была одна и та же – истерическая, на высоких нотах.

Карина вздыхала и бросала трубку. Ребенок думал, что играют. А Алик каждый раз выслушивал до конца. Потом спокойно клал трубку и шел по делам. И чувствовал успокаивающую тяжесть пистолета.

* * *

Алик пожинал славу. Его завалили предложениями. Кинематограф, как светофор, давал ему «зеленую улицу».

У Алика появилась проблема выбора, например: какой сценарий взять – тот или этот? В какую страну ехать – в ту или в эту?

В семидесятых годах поездки за границу были редкостью и привилегией. Алик получил эти привилегии и каждый раз привозил Карине наряды. Он покупал на все деньги только одну вещь, но хорошую, из дорогого магазина. И каждому было видно, что Карина – дорогая, удачливая женщина, которая вытянула счастливый билет.

Все женщины во всем мире имеют, как правило, два вида одежды: выходную и повседневную. Карина совмещала эти два вида в один. Свои самые красивые вещи она носила каждый день. В чем ходила по даче, в том же выезжала в Дом кино. В этом была какая-то свобода и широта.

У меня, например, всегда существовали выходное платье и туфли. Они годами обитали в шкафу, дожидаясь своего часа. А Карина считала: выходные туфли – значит, вышел и пошел. Особой минуты не бывает. Каждая минута – особая.

Карина каждую минуту была прекрасна. Но Алик не замечал. Он постоянно к чему-то прислушивался. Иногда во время застолья и даже во время тоста он как будто забывал слова. Замолкал и замыкался. Он вспоминал или в нем звучало: «Сволочь, я тебя убью!..» И все становилось неинтересно.

И даже во время любви, когда душа воспарялась ввысь, когда атласная, благоуханная Карина шептала слова страсти, вдруг – как холодной водой окатывало: «Сволочь!..» И душа никуда не воспарялась. И ничего не хотелось, кроме покоя.

* * *

Алик сменил телефон, и звонки прекратились.

Прошло полгода. Никто не звонил.

Алик искал новый сценарий. Не мог определиться. Чего-то ему не хватало или, наоборот, было лишним. Тишина – вот что было лишним. Эти крики из телефонной трубки связывали его с Архитектором. Пусть уродливая, противоестественная, но это была связь. А сейчас она оборвалась. Алик понял, чего ему не хватало: энергии чужой ненависти.

Всякая палка имеет два конца. На одном конце – его вина. На другом – чужая ненависть. Одно уравновешивало другое. А теперь ненависть куда-то пропала. Вина стала тяжелой, неподъемной, как паровоз.

Однажды Алик взял и позвонил Архитектору. Зачем? Он и сам не знал. Трубку сняла женщина.

– Позовите, пожалуйста... – Алик запнулся. Все называли Архитектора – Лодя. Но ведь это не могло быть имя.

– Вам Володю? – подсказала женщина.

Алик сообразил, что Лодя – это сокращенное от Володи.

– Он умер, – сухо сказала женщина. – А кто спрашивает?

Алик не ответил. На другом конце положили трубку. Запикали гудки.

Архитектора больше нет. Пистолет можно выбросить, а можно спрятать на даче.

Алик прислушался к себе. Он ожидал, что почувствует облегчение, с души сойдет паровозная тяжесть и можно будет подскочить вверх и зависнуть от легкости. Как в невесомости. Но ничего такого Алик не чувствовал. Стоял пустой, как труба, и по нему гулял ветер.

* * *

Я помню, как увидела Алика в первый раз – в метро. И помню, как в последний – у него на даче.

Доработчик вернулся из Италии и привез нам подарки. Я все еще была камнем в его браслете, хотя мы начинали ссориться. Отношения не стоят на месте, они развиваются. А развиваться им было некуда. У меня была семья, у Доработчика семья. Как говорил один знакомый югослав: «Зачем портить комплект?»

Бросить близких – это все равно что дать им ледорубом по темени. Жить будут, но как?.. И как ты сам будешь жить после этого?..

Доработчик вернулся из Италии, и мы поехали к Алику на дачу.

Стояло бабье лето. Мы развели костер и стали сносить в него сухие ветки. Алик задумчиво смотрел на огонь и немножко шурился. Люди любят смотреть на огонь. Это осталось еще с первобытных времен.

Доработчик принес гитару, настроил и стал петь, прохаживаясь по траве. Он был в соломенном сомбреро и походил на испанца. Или на цыгана. Что-то живописное.

Потом мы жарили на углях мясо. Алик смотрел перед собой и, казалось, к чему-то прислушивался.

А потом мы уехали, а Алик остался. Он сказал, что ему надо рыть траншею для водопровода.

* * *

Алик лег спать в холодной даче. И ему приснился сон, будто он стоит с лопатой на дне узкой глубокой траншеи. Появился Архитектор и стал наблюдать за его работой.

– Ты же умер, – удивился Алик.

– Ага... Здесь хорошо, только скучно.

– А почему ты Лодя, а не Вова?

– Какая разница... Здесь это совершенно не важно.

– А что важно?

– Приходи, узнаешь...

Алик проснулся. Встал и прошел босиком в кухню. Достал мешочек с гречкой. В гречке был спрятан пистолет, завернутый в тряпку.

...В тюрьме он все время болел, кашлял. И один зэк сказал ему:

– Обливайся по утрам холодной водой. Закаляйся. А то сдохнешь.

Алик дождался утра, набрал в ведро воды. Вышел из барака на улицу. Разделся. И вдруг почувствовал, что не боится холода. Он хочет, жаждет соприкосновения с водой. Алик поднял ведро над собой, перевернул его и счастливо задохнулся на несколько секунд...

Алик освободил пистолет от тряпки. И вдруг почувствовал, что не боится. Он хочет, жаждет соприкосновения с вечностью. И готов, если надо, перетерпеть какую-то промежуточную боль.

Алик поднял пистолет к голове и выстрелил. И счастливо задохнулся, успев подумать:
ВСЁ!

Он рассчитался и больше никому ничего не должен.

* * *

Когда на студии стало известно, что Алик застрелился, никто ничего не мог понять. У Алика было все, что желают в телеграммах: здоровье, творческие успехи и счастье в личной жизни.

Что еще надо человеку?

Почем килограмм славы

Однажды в начале лета я шла по березовой роще. В роще бегали и звенели дети, неподалеку размещался их детский сад. Мальчик лет пяти сидел на корточках и проверял пальцы на ноге. Рядом валялся неполный кирпич.

Мальчик поднял на меня большие ошарашенные глаза и возмущенно сообщил:

– Кузюрин уронил мне на ногу кирпич!

– Больно? – посочувствовала я.

Мальчик прислушался к своим ощущениям и честно сообщил:

– Не очень больно. Но все-таки больно.

Мне не хотелось уходить от мальчика, оставлять в трудную минуту. Я спросила:

– Ты кузнечиков видел?

– Конечно, – удивился мальчик. – Их тут полно.

– Некоторых можно обучить играть на скрипочке.

– А зачем? – удивился мальчик.

Это был ребенок-реалист. Он не понимал, зачем кузнечнику концертная деятельность, когда у него совершенно другие жизненные задачи? А я поняла, что любая сказка должна быть положена на реальность. Иначе это не сказка, а вранье.

С тех пор прошло много времени. Мальчик вырос, должно быть. А детский сад как стоял, так и стоит. Без ремонта. Я тоже продвинулась во времени и попала в другой его кусок. Я – такая же, а время вокруг меня другое.

Я живу не очень давно, но все-таки давно. Мои ровесники уже вышли в начальники и в знаменитости. Кому что удалось.

Гена Шпаликов ушел раньше своего часа. Не стал ждать. Надоело. Ему досталось вязкое время.

Однажды мы с ним встретились на телевидении. Он спросил:

– Что ты здесь делаешь?

Я сказала:

– Работаю штатным сценаристом.

– Нечего тебе здесь делать. Иди домой.

Второй раз он увидел меня с моим соавтором. Спросил:

– Что ты возле него делаешь?

Я сказала:

– Нахожусь под обаянием личности.

– Нечего тебе делать под его обаянием. Иди домой.

Он оказался прав. Мне не надо больше работать на телевидении, тратить время и душу. Мне не надо было соавторствовать, размывать свои способности. Мне надо было идти домой. И писать. Тогда я это не понимала, а он понимал. И за меня. И за себя.

Как-то я встретила его в сберкассе. От него пахло третьим днем запоя. Между прочим, не противный запах. Даже приятный. Немножко лекарственный.

Гена молод, но знаменит, что редкость для сценариста. С ним работают лучшие режиссеры.

– Ты вкладываешь деньги? – догадалась я.

Он хмуро посмотрел на меня и спросил:

– Похож я на человека, который вкладывает деньги?

Он их тратил, равно как и себя самого. Он взял тогда пятнадцать рублей, из них пять подарил кассирше. Он дарил себя направо и налево. Не жалко.

Он тогда сказал:

– Посиди со мной в кафе.

– Не могу. Дела, – отказалась я.

– Я прошу тебя. Один час.

Я пошла с Геной в кафе. Как на ленинский субботник. Не хочется, но надо. Он читал стихи. К нам за стол села девочка-школьница. Он и ей читал свои стихи. Все мои бесконечные дела и делишки осыпались, как картофельная шелуха. А этот час в кафе – на всю жизнь. Это был час высоты.

Он уже начинал уходить от всех нас и прощался с каждым по очереди. И со мной в том числе. И с незнакомой девочкой.

Его нет, а как бы жив. А некоторые живут, но как бы умерли. Ничего о них не слышно, хотя они что-то делают. Но вроде как и не делают.

А некоторые получили от времени вторую молодость, и сегодня в свои пятьдесят и шестьдесят моложе, чем были, честнее, интереснее.

Пузатый вышибала, режиссер-неудачник, которого никто и никогда не видел трезвым, превратился в мощного бизнесмена, продюсера, официального миллионера. Он меняет «мерседесы» и плащи в зависимости от времени года. Весной белый плащ, осенью – зеленый. Машина в цвет плаща. К тому же оказался правнуком не то Радищева, не то Рылеева. Потомственный дворянин.

Кое-кто из провинциального поэта превратился в Спартака, который повел рабов к свободе. И за ним пошли. Потом, правда, передумали и отстали.

Новое время одних отмело, других вскинуло на гребень, третьих выбросило к иным берегам. Эти другие приезжают сегодня из Америки и разговаривают с еле уловимым акцентом. Они говорят по-русски, но чувствуется, что привыкли к другому, более цивилизованному языку. Иногда спотыкаются в речи, ищут слово и делают в воздухе нетерпеливое движение пальцами, как бы подзывая это слово.

Для человечества в целом не важно, когда умер творец – молодым или старым, долго он жил или коротко. Важно то, что он успел оставить. Но для самого творца все-таки важно, сколько он проживет. Как надолго задержится на этом свете? И если бы Моцарта в последний час его жизни спросили: «Хочешь умереть как Моцарт или жить до ста лет как простой капельдинер?» Что бы он выбрал?

О чем я пишу? О том, как я шла по березовой роще.

Не очень молодая, но все-таки молодая. Студентка ВГИКа. Мастерская Катерины Виноградской. Ее звали не Екатерина – это другое. Торжественное. Екатерина Великая. А именно Катерина. Та самая Катя-Катя-Катерина.

Она всем открывалась по-разному. Как рояль пианисту. Кто-то подойдет, сыграет собачий вальс. А кто-то – экспромт Шопена. А третий просто постучит по клавишам кулаками, и тогда будет блям-блям-блям. Тот же самый рояль. Одному – блям-блям. Другому – божественное звучание.

Для одних Катерина Виноградская была автором фильмов «Член правительства», «Партийный билет». Живой классик.

Для других – ортодоксальный марксист. Заставляла писать образ Ленина. И писали. За повышенную стипендию. Подумаешь, на Западе из-за денег люди наркобизнесом занимаются. И то ничего. А тут образ Ленина написать.

Для третьих Катерина была несовременна и несвоевременна, как звероящер, заблудившийся в эпохах и попавший в двадцатый век. И никто не понимает, как это могло случиться: звероящеры давно вымерли и мамонты вымерли. Вместо них – слоны. И те только в Индии.

Но была еще одна. МОЯ Виноградская. И о такой я хочу рассказать. Потому что если не я, то никто. Никто и никогда.

Самое начало

Я снимаю проходную комнату у вдовой генеральши, работаю учительницей музыки, у меня нет пальто. Вернее, есть, но лучше бы его не было вообще.

В проходной комнате вместе со мной живет генеральшин зоопарк: собака, кошка и канарейка. Собака линяет от авитаминоза, кот ворует еду, а канарейка все время какает. Жидкие капли застывают и становятся похожи на полудрагоценный минерал. Собачья шерсть слоями лежит на кровати, на полу и у меня в мозгах. Кот – крупный, старый, без глаза. Потерял в честном бою. Собака меня не любит. Кот презирает. Птице все равно.

А за окном яркая весна. На киноафишах портреты Брижит Бардо, у меня прическа Бабетты – одной из ее героинь. Я хочу квартиру, хочу пальто, хочу, чтобы мое имя мелькало на слуху.

Как этого достичь? Можно стать подругой знаменитости. Отражать чужой свет. Стала. Не близкой, но все же подругой. Мы даже сидим в ресторане и болтаем на равных, при этом я постоянно, все время жую. Он смотрит на меня и говорит с тоской: «Ешь, ешь, а то моя жена постоянно на диете». Я хохочу до потолка, он смотрит с тоской: «Смейся, смейся, а то у жены все время стенокардия». И я ем, ем салат с ананасом, куриные печенки с луком...

А потом он отвозит меня в мое пространство, а сам возвращается в свое с диетой и стенокардией. Нет. Так не пойдет. Надо иметь свое пространство и свое имя. Самой платить за свой салат.

Я беру у знаменитости рекомендацию и подаю документы во ВГИК. Институт кинематографии. Мне кажется: оттуда, из кино, – прямая дорога на афиши, на деньги, на новое пальто. Зарабатывать хлеб свой не в поте лица, а в сверкающем полете вдохновения.

Красиво? Красиво. Но если в жизни есть красота, значит, должны быть слова, ее определяющие. Ну хорошо, пусть не в сверкающем, просто в полете. Пусть полет низок, но все-таки летишь... «Летай иль ползай, конец известен». А вот неизвестен. И очень далек. Особенно из молодости.

Я работала учительницей музыки: этюды Черни, сонатины Клементи. Очередной ученик заколачивает клавиши, как гвозди, и громко, деревянно считает: три, и раз, и два, и... И я вместе с ним устремляю глаза в ноты, переливаю свою энергию в его худенькое тело, плененную душу, а сзади, как конвоир, сидит мамаша.

И мне кажется, что я тоже в плену. Три, и раз, и... И так восемь часов подряд.

Потом я бегу домой и подвываю от голода и усталости. Организм не справляется с нагрузкой, зажигает красную кнопку, гудит: «а-а-а», «а-а-а». Люди оборачиваются вслед. Думают, несчастье у человека.

На мне – розовые туфли с белой вставкой. Летняя обувь. Но других у меня нет, и я ношу их четыре времени года. В подошве образовалась дырка, в нее забивается снег. Ну и что? Не умру же я от этого. В крайнем случае простужусь, заболею воспалением легких. Не больше. Простужусь, потом выздоровею. А Брижит Бардо – роскошная француженка с личиком испорченного ребенка. Невинность и порок. Какие мужчины! Какая фигура! Какая жизнь!..

Я бегу, бегу в розовых туфельках с дырявой подошвой. Туда забивается снег. Заливается дождь. А я все равно бегу. Добежала до ВГИКа. Подала на сценарный. Курс набирает Катерина Виноградская. Катерина родилась в прошлом веке. Поговаривали, что во время войны, пользуясь суматохой и стрельбой, она переделала паспорт, изменила дату своего рождения. Стала на пятнадцать лет моложе. И с тех пор зажила не в своем возрасте. Может быть, это правда. А может, и врут.

Когда я поступала в институт, Катерине было пятьдесят. (Значит, шестьдесят пять.) Но из моих двадцати шести лет – это не имело значения. Пятьдесят и шестьдесят пять – это одно.

Я не понимаю, красива она или нет. Лицо имеет кошачий овал: пошире у лба, вниз треугольничком. Аккуратненький ротик и носик. Аккуратная фигурка, но без линий. Все в кучку. Глаза большие, немножко круглые для кошачьих. Но в общем – кошка. Волосы носит по моде сороковых годов. Валик. Вокруг головы надевается ленточка, а потом все волосы под ленточку – спереди и сзади. Так причесывались женщины в картинах военных лет. И пластика оттуда. И поведение. «На позицию девушка провожала бойца». Вот такая девушка и провожала. Но сегодня девушке пятьдесят. (Про шестьдесят пять не будем.)

Я – типичная шестидесятница: прическа «Бабетта», юбка-колокол, талия, смех без причины, уверенность в завтрашнем дне. «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно», – сочинил тогда поэт Ваншенкин. Это про меня. Я несла себя как праздник. Не церковный, а советский. Меня воспринимали с поверхностным энтузиазмом – все, кроме Виноградской. Она смотрела сдержанно и скептически.

Мои недостатки:

1. Молода – значит, пуста, ничего за душой. Отсутствие жизненного опыта.

2. Учительница музыки – интеллигентский труд. Считалось, что существенное о жизни знают только рабочие и крестьяне. А прослойка – она прослойка и есть. Между слоями.

В нашей группе поступающих была громкоголосая Валя Чернова, приехала с Севера, ловила на сейнере рыбу наравне с мужиками, резала правду-матку (попросту хамила). Она Виноградской нравилась. А я нет.

3. Что касается рекомендации от старого бабника – это комментировать не обязательно. И так ясно.

Виноградская решила меня не брать. Для моей же пользы. Зачем плодить неудачников?

Отметки я получила разнообразные, но в общем набрала неплохой балл. Все должно было решить последнее собеседование. В среду, в четыре часа. Как сейчас помню: в среду, в четыре часа.

Я приехала в институт. Сдала плащ в гардеробе и прочла скромное объявление о том, что собеседование сценаристов состоится во вторник, в четыре часа. Все то же самое, но на сутки раньше. Я опоздала ровно на сутки.

Прощай, моя слава, имя на афишах, сверкающий полет жизни.

Здравствуйте, розовые туфли, чужой дом, звери, постылый труд до изнеможения, до того, что хочется вытошнить собственную печень.

Я побежала по лестнице вверх на третий этаж, потом по коридору. И в этом состоянии налетела на Виноградскую и стала ей объяснять, что я опоздала, что я перепутала, что я, что я... Она заразилась моим отчаянием и смотрела на меня ошарашенно, как мальчик в березовой роще. И вдруг что-то увидела во мне. Что-то поняла.

Для того чтобы принять человека, ей надо его пожалеть. Я не человек-праздник. Я – та, которая бежит-бежит-бежит за своей сутью, и воет от усталости, и все равно бежит. Потому что поиск себя – это единственный смысл жизни.

Я плакала горько и глубоко, а она шире и шире открывала дверь своей души. И впустила. Заходи. Садись. Будь как дома.

С тех пор прошло много времени. Коридор превратился в тоннель со светящейся точкой в конце. Виноградская ушла в этот свет и где-то в нем растворилась.

А я тяну руку, как будто хочу втащить ее обратно в этот серый коридор и смотреть в ее понимающие глаза, немножко круглые для кошачьих.

Я учусь

Я получила первую пятерку. За немой этюд...

«Снег в июле». Тополинный пух. Это первое «отлично» на курсе. Остальных оценили пониже: «хорошо», «средне» и «плохо».

Я выскочила с пятеркой из кабинета и побежала по длинному коридору. Мне надо было как-то расплескать свою избыточную радость, уравновесить себя в скорости и движении.

Я побежала, а группа оскорбленно переглянулась и пошла к Виноградской.

– Вы поставили ей пятерку, когда известно, что за нее написал Варламов, – заявила группа.

– Это должно быть доказано, – сухо возразила Виноградская.

Она большой кусок жизни прожила во времена доносов и знала, чего они стоят. Доносами движет зависть.

Как докажешь? Никак и не докажешь. Пришлось смириться с моей пятеркой.

Юра Варламов – студент нашей группы. Приехал из Ростова. В детстве дядя (родной брат отца) брал его с собой воровать. Шарить по карманам. У ребенка рука легче. Потом их пути разошлись. Дядя – в тюрьму. Юра – во Всесоюзный институт кинематографии. Юра – большеглазый, простоватый и влюблен в меня. Он хочет на мне жениться и ввести меня в свою ростовскую семью. Но я ставлю условие: «Будешь знаменитость, как Константин Симонов, тогда я выйду за тебя».

– Буду, – клянется Юра. Ему кажется, что это несложно.

Я не влюблена. Я не поощряю, но и не запрещаю. Греюсь в лучах его любви, как авитаминозный северянин под южным солнцем. Чувствую, как в меня вливается ультрафиолет и я хорошею на глазах.

Однокурсники недовольны ситуацией. Им обидно за друга. Они считают необходимым открыть ему глаза.

– Ты что, не видишь? Она тобой пользуется. Она тебе не ответит и ничего не вернет.

– И не надо, – удивляется Юра. – Пусть ей будет тепло.

В его отношении ко мне – отцовское начало: все отдать, чтобы ребенок вырос и жил дальше. Самоотдача – и содержание, и смысл такой любви.

Тем не менее он не писал за меня. Скорее я – за него. Я сокращала его тексты, монтировала, конец ставила в начало, начало выбрасывала вообще. Я – формалистка. Для меня форма имеет большое значение. Я как бы работаю формой, поэтому у меня почти нет лишних слов.

Мои однокурсники не поверили, что я пишу сама.

Позже, когда я напечаталась, моя мама спросила:

– Кто за тебя пишет?

Нет пророка в своем отечестве. Глядя на меня, никому в голову не приходит, что я способна на что-то стоящее. И мне самой это тоже не приходит в голову.

Однажды на кинофестивале меня представили известному государственному режиссеру.

– Это вы? – удивился он.

– Я.

– В самом деле?

Я сконфуженно промолчала. Режиссер озадачился, потом сказал, перейдя почему-то на «ты» (знак доверия):

– Я думал, что ты как все кинематографические говны. А ты – нормальная баба с сиськами.

Мои современницы несли свои маски: Юнна Мориц – загадочный бубновый валет, Белла Ахмадулина – хрупкая Господня дудочка. Хочется броситься и спасти. А я – нормальная баба с сиськами. А если быть точной, то и без них.

День без вранья

Во мне не было признаков избранности, а возможно, не было и самой избранности, но всегда была потребность в писании. Графомания. Я садилась за стол и графоманила и на втором курсе написала рассказ «День без вранья». И отнесла рукопись в два места. На киностудию «Мосфильм», редактору Боре, и в журнал «Молодая гвардия», поскольку он был ближе всего к моему дому. Я поднялась на лифте на какой-то этаж и вошла в кабинет заместителя главного. Зам только что приехал с Севера и с жадностью поглощал столичную жизнь, как то: пил, искал высокую любовь, находил, терял, снова пил, попадал в милицию, неуважительно отзывался о Брежневе и писал замечательные книги. Талант искрился из его рыжих глаз и сиял над обширной лысиной.

Все кончилось тем, что его сняли. Потом назначили на более высокий пост. Но и оттуда тоже сняли. Он не приживался. Он имел внутри себя совершенно неначальническую, молодую, мятежную и даже слегка хулиганскую начинку.

Именно этот рыжеволосый Зам поднялся мне навстречу.

Я поздоровалась и сказала:

– Я написала рассказ. – И положила рассказ на угол стола.

– А вы откуда вообще? – спросил Зам. Может, он решил, что я чья-то дочка или чья-то протеже.

– Ниоткуда.

– А как вы сюда попали?

– С улицы, – простодушно ответила я. Не с неба же я прилетела.

– Если все с улицы начнут ходить прямо ко мне в кабинет, у меня ни на что больше времени не останется. Существует отдел прозы. Туда и идите.

– Забрать? – догадалась я и потянулась за рукописью.

Зама тронула моя покорность. Он посмотрел на деревянные бусы, висящие на моей груди, как у дикаря, и смягчился.

– Ладно, – сказал он. – Оставьте.

Прошло три дня, и в моей коммуналке раздался звонок. Подошла соседка и сказала:

– Тебя мужчина...

Я взяла трубку. Зам назвал себя и замолчал. Я тоже молчала. Потом он спросил:

– А когда вы это написали?

– Неделю назад, – ответила я.

– А вы еще кому-нибудь показывали?

– Нет. А что?

Он снова замолчал. Разговор продвигался не энергично. Через пень-колоду. Зам попросил меня прийти.

Потом я узнала, что он срочно созвал собрание, на котором приказал к самотеку быть внимательным, потому что с улицы иногда приносят выдающиеся произведения.

Я пришла к Заму. Он сказал, что рассказ талантливый. Я ждала, когда он добавит: «Но мы не напечатаем». Мне всегда так отказывали, и я уже выучила наизусть эту формулировку. «Мило, талантливо, но мы не напечатаем».

– Мило, – начал Зам. – Талантливо...

– Но... – подсказала я.

– Что «но»? – не понял он.

– ...Но вы не напечатаете.

– Почему же? Напечатаем. В шестом номере. Но мы бы хотели сопроводить вашу первую публикацию напутствием какого-нибудь классика.

– Какого?

– Выбирайте сами, кто вам больше всего нравится...

Вечером этого дня я сидела у себя в коммуналке и тряслась, как мокрая кошка.

Когда человек получает отрицательные эмоции, то в его кровь выбрасывается адреналин. А когда – положительные эмоции, то в кровь ведь тоже что-то выбрасывается. И когда выбрасывается слишком много, организм начинает дрожать, как во время перегрузок. Я сидела и дрожала от перегрузки счастья.

На другой день освоилась со своим новым положением счастливого человека и стала выбирать напутствующего.

Кто будет мой «старик Державин», который меня благословит? Шолохов? Но он живет в станице Вешенской, ничего не пишет и пьет водку. Твардовский? Он не близок мне внешне: обширный, похож на бабушку.

В молодости его называли «смесь добра молодца с красной девицей». С возрастом добрый молодец отступил внутрь, а красна девица постарела.

Я невольно искала в мэтре свой мужской идеал. Ни Шолохов, ни Твардовский не подходили. Близко не приближались.

Но кто же? Константин Симонов! Вот кто. Это был Хемингуэй по-русски. Трубка. Седина. Любовь народа. Такую прижизненную славу познал только Евтушенко.

Зам написал Симонову письмо с просьбой дать мне «доброе пути». Симонов согласился прочитать рукопись. Я согласилась отвезти рукопись к нему домой. Моя подруга Эльга снаряжала меня в дорогу. Она принесла бабушкин бриллиантовый кулон и повесила мне на шею. Я получилась как бы девушка из хорошей семьи. Из семьи с традициями.

У меня есть прорезиненный плащ. Из клеенки. Но это заметно, если шупать и нюхать. Вряд ли Константин Симонов так подробно заинтересуется моим плащом. А из лестничного полумрака он будет выглядеть вполне натурально. На голове – кепка из мохера. Польская. На ногах розовые туфли. Они еще живы.

Общий вид: плащ дешевый, шапка не по сезону, туфли практически без подошв. Но зато бриллиант – настоящий. И рукопись – сорок две страницы сплошного таланта. Не мало, если разобраться.

Маленькое уточнение: Симонов попросил не звонить в дверь, а бросить рукопись в дверную щель.

Я поднялась на этаж. На его двери – прорезь, отделанная медью. В эту прорезь надо бросить мою рукопись из сорока двух страниц. Он так просил. Но я не могу не увидеть его. И мне жалко мою рукопись, которая упадет с высоты человеческого роста и разлетится во все стороны, и ее надо будет подбирать с пола.

Я звоню в дверь. Открывает САМ. Короткая стрижка. Голубоватая седина. Видимо, прополаскивает волосы в синьке. Загорелое лицо. Карие глаза.

– Извините, – мягко говорит Симонов. – Я не могу подать вам руки. Я ставлю собаке компресс. У меня руки в водке.

– Ничего, – прощаю я. – Вот...

Я протягиваю рукопись. Он вытирает ладонь о штаны. (Спирт не оставляет пятен.) Берет рукопись.

– До свидания, – прощаюсь я.

– До свидания.

Я поворачиваюсь и иду вниз. Дверь закрывается. Легкий щелчок. Бриллиант на моей шее остался неувиденным. Да и бриллиант чужой.

Я не вызываю лифт. Спускаюсь пешком два лестничных пролета. Останавливаюсь между этажами и смотрю в окно. Со стороны может показаться: стоит человек и смотрит в окно. Может, кого-то ждет или любуется природой. А внутри меня – сквозняк. Пустота, в

которой свищет ветер. Мне кажется, что мимо меня, как роскошный грохочущий поезд, пронеслась чужая прекрасная, одухотворенная жизнь. А я осталась на продуваемой платформе где-то в Мытищах, в хулиганах и запахах станционного клозета. Двое суток я не могла есть и разговаривать.

На третьи сутки Константин Симонов позвонил мне по телефону и сказал, что вообще-то идея доброго пути кажется ему идиотской. Нет писателя начинающего и завершающего. Писатель – или есть, или нет. Я – есть. Я пишу зрело и мастерски. Зачем мне напутствие? Но ладно уж, так и быть, если журнал просит, он напишет полстранички. Он передаст мне эти полстранички возле памятника Пушкину в три часа дня, потому что именно в это время он будет неподалеку, в журнале «Знамя», а уже в пять часов он должен быть в аэропорту, ему надо в Германию лететь.

Константин Симонов появился возле памятника ровно в три часа. Точность – вежливость королей, а поскольку в стране победившего пролетариата королей нет, то и точность повывелась. Симонов пришел в три.

А я немножко раньше. И я видела, как он идет к памятнику и ищет меня глазами. На нем английское пальто в елочку. Седая голова. Смуглое лицо. Трубочка. Богочеловек. Его все узнают. На него все оборачиваются.

Я хочу, чтобы он полюбил меня, как Серову, и посвящал мне стихи. А я не хуже. У меня врожденный талант.

Я пишу зрело и мастерски. Но Симонов смотрит куда-то поверх голов и думает о своем. Обо мне он не думает.

И не знает, что я жду его любви. Ему это в голову не приходит.

Через несколько лет мы случайно встречаемся в Ленинграде. На премьере моего первого фильма «Джентльмены удачи». Симонов с женой. Я смотрю на жену во все глаза: кто эта избранная счастливица? Но никакого явного счастья на ее лице нет. Скромная женщина на каждый день. Не женщина-праздник, как предполагается у такого человека. И сам он выглядит буднично. Не богочеловек. Просто человек в темном свитере, к рукаву прилипла длинная волосинка. Мне хочется снять ее, но это не моя привилегия. Пусть жена снимает. Я не имею права.

Симонов узнает меня. Мы здороваемся.

– А я с мамой пришла, – говорю я почему-то. Надо ведь что-то сказать.

Его лицо неожиданно оживает.

– С мамой, да? – проникновенно переспрашивает он. И смотрит не поверх меня, а прямо на меня, и в его глазах грустная нежность.

Оказывается, Симонов больше всех на свете любил свою маму. А через свою маму и остальных мам. Я уже не просто абстрактный литератор, а чья-то дочка. У меня есть корни, защита и устойчивость.

Может быть, мне надо было с самого начала не бриллиант на шею вешать, а маму с собой брать.

А моя мама в это время стоит возле колонны, в стороне, мучительно стесняется скопления людей. Ее нос густо засыпан пудрой «Лебедь». Она хочет как-то соответствовать творческой элите, но просто стоит с белым носом и боится, что у нее спустятся чулки. Она не уверена в себе, а ее никто не поддерживает, потому что ее муж, а мой папа, умер тридцати шести лет от роду, в январе сорок пятого года. А в мае кончилась война.

Мы получили известие от папиного брата дяди Жени. Дядя Женя прислал черно-серую открытку, на которой было изображено черное дерево с обрубленными сучьями на берегу черной речки. В дерево упирается черная лодка с брошенными веслами. И надпись: «Любовная лодка разбилась о быт». А внизу сообщение о дне смерти папы.

Эвакуация. Какая-то деревянная изба. Мать сидит, привалившись спиной к печке, и плачет. Вошла моя старшая сестра, посмотрела на мать и запела.

– Папочка умер, а ты поешь, – горько упрекнула мать.

Сестре пять лет, она не понимает, что значит «умер папочка» и почему нельзя петь.

Потом я просыпаюсь среди ночи и вижу, что они обе тихо плачут. Это было в сорок пятом году. А сейчас шестьдесят девятый. Через двадцать пять лет. Мама стоит в Доме кино, но ей хочется домой. Она хорошо себя чувствует только на своей территории.

Симонов смотрит на меня, будто проснувшись. Он не знал, что я его любила. Недолго. Полдня. Но так, что запомнила на всю жизнь. Человек проживает не временную жизнь, а эмоциональную. Жизнь его складывается не из количества прожитых дней, а из количества и качества эмоций.

Я любила Константина Симонова на лестничном марше и возле памятника Пушкину. Внешне это никак не выражалось. Все осталось в душе. Я спокойно и даже безразлично взяла полстранички напутствия. Сказала два слова: «спасибо» и «до свидания». И тут же поехала в журнал.

– Ну как Симонов? – небрежно спросил Зам. Завидовал.

– У него руки в водке были, – небрежно сказала я.

– Он что, водку руками черпает?

Я пожалала плечом. Дескать, не мое дело. У него своя жизнь, свои привычки. У меня свои.

* * *

Рассказ «День без вранья» с послесловием Симонова вышел в июле шестьдесят четвертого года. На хвосте хрущевской перестройки. Через два месяца страна вступила в начальную стадию застоя, и я уже никогда не смогла бы напечатать свой рассказ. Мой герой – учитель литературы. Он проживает один день без вранья. А что же он делает остальные триста пятьдесят девять дней в году? Врет?

Но рассказ вышел. Я как бы успела вскочить в последний вагон на последнюю подножку.

Июль шестьдесят четвертого года. Лето. Прибалтика. Я купила журнал в киоске на пляже. Открыла. Увидела свой портрет. И побежала по пляжу. От счастья я всегда ускоряюсь и бегу, пока не устану. Физическая усталость – это единственное, что приводит меня в порядок.

А дальше началось движение судьбы, которое плелось из мелочей и совпадений. Как то: в поезде едет артист «А». На полустанке он выходит на перрон и покупает в киоске журнал. Потом от нечего делать он листает журнал и натывается на мой рассказ. Далее он приезжает в Москву и звонит своей подруге «Б» и говорит: «Прочитай рассказ». Подруга читает и советует своему мужу: «Вася (к примеру), прочитай рассказ». Вася читает и тут же звонит главному редактору: «Боря (к примеру), найдите этого автора и заключите с ним договор».

Боря звонит ко мне домой и говорит:

– Зайдите на студию. С паспортом.

– А я его потеряла, – отвечаю я.

Это правда. Со мной случается, я теряю важные документы.

– А на память вы его помните?

– Помню.

– Ну приходите так.

Боре кажется, я хитрю. Я не хочу заключать с ним договор. Я хочу отнести рассказ в другое объединение. Боря нервничает. А у него есть на то причины. Полгода назад я написала рассказ и отнесла в два места: в журнал «Молодая гвардия» и на киностудию. Конкретно Боре. Боря целый месяц не мог прочитать. Потом прочитал, но месяц не мог найти для меня времени. Потом сказал по телефону:

– Не подойдет.

– Мало страниц? – догадалась я. Страниц было сорок две, а в сценарии должно быть шестьдесят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.